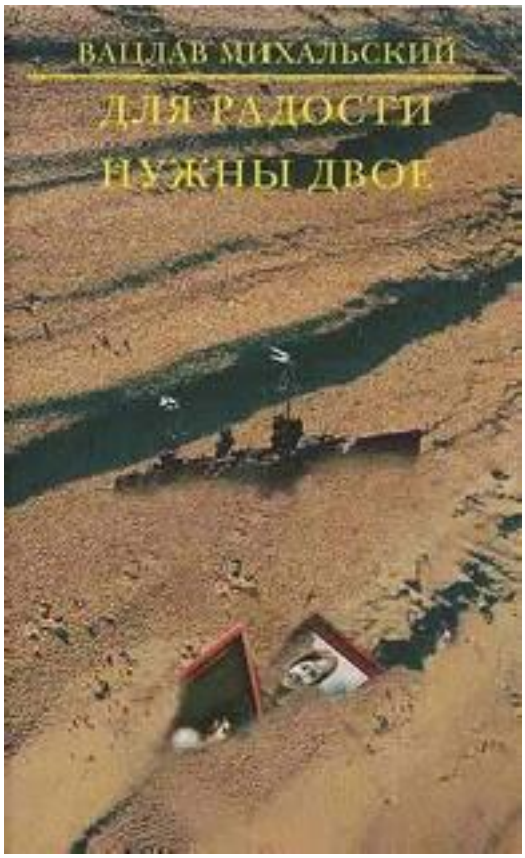

ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ
ДЛЯ РАДОСТИ
НУЖНЫ ДВОЕ

Весна в Карфагене

Вацлав Михальский

# Для радости нужны двое

**Михальский В. В.**

Для радости нужны двое / В. В. Михальский — — (Весна в Карфагене)

Роман «Для радости нужны двое» продолжает цикл романов Вацлава Михальского о судьбах двух сестер – Марии и Александры, начатый романами «Весна в Карфагене», за который писатель Указом Президента РФ от 5 июня 2003 года удостоен Государственной премии России, и «Одинокому везде пустыня».В романе «Для радости нужны двое» читатель вновь встречается с Марией и Александрой, но уже совсем в другом времени – на пороге и за порогом Второй мировой войны. В свое время Валентин Катаев писал: «Вацлав Михальский сразу обратил внимание читателей и критики свежестью своего незаурядного таланта. У него верный глаз, острый аналитический ум. Он прекрасно владеет словом и знает ему цену. Ведущая сила его творчества – воображение. Женские образы в прозе Михальского всегда достоверны и неповторимы». Эти слова выдающегося мастера можно вполне отнести и к новой книге Вацлава Михальского.

© Михальский В. В.

# Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 5
I 5
II 7
III 10
IV 13
V 15
VI 18
VII 22
VIII 26
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 31
I 31
II 35
Конец ознакомительного фрагмента. 36

# Вацлав Михальский
# Для радости нужны двое

*Светлой памяти моего любимого деда Адама Семеновича (Сигизмундовича) Михальского посвящаю эту книгу*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Города сдают солдаты,*
*Генералы их берут.*
***А.Т.Твардовский***

### I

5 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта, а также при содействии торпедных катеров и авиации Черноморского флота, атаковавших неприятельские корабли и транспорты у мыса Херсонес, наши войска перешли в наступление сразу по нескольким направлениям: с востока, с юго-востока, с севера и с юга. К шести часам вечера 7-го мая мы овладели Сапун-горой, а после полудня 8 мая заняли Инкерман.

Перед рассветом 9 мая, в результате скоротечного рукопашного боя штурмовой батальон морской пехоты, в котором вот уже второй год служила военфельдшер Александра Домбровская, прорвался со стороны Мекензиевых гор и скатился к Северной бухте Севастополя.

В 1920 году мама вынесла малютку Сашеньку из горящего Севастополя именно через Мекензиевы горы, а теперь Александра вернулась сюда тем же путем. Как в младенчестве не могла запомнить дорогу из Севастополя, так и теперь в пылу ночного боя она также не разглядела путь в Севастополь.

Александра осмотрелась с неторопливым вниманием только у самого берега, сплошь уставленного штабелями каких-то странных ящиков, как будто повисших в предрассветном тумане.

– Полундра! Да ведь это гробы! – вдруг крикнул кто-то хриплым, прокуренным голосом.

– Гробы!

– Гробы!

– Гробы! – отозвались, как эхо, десятки других голосов.

Случилось так, что батальон вышел к Северной бухте прямо на столярные мастерские, делавшие гробы на случай возможных потерь во всей семидесятитысячной группировке немецких войск, оборонявшей город и его окрестности.

Трудно сказать, кто первый смекнул использовать гробы как плавсредство. Может быть, лично Батя (комбат), а может, все получилось само собой, но уже через две-три минуты бойцы стали разбирать штабели и стаскивать гробы к берегу.

Каждый из пехотинцев брал по два гроба – один для себя, а второй для плащпалатки, бушлата, оружия, вещмешка, боезапаса.

– Молодцы фрицы!

– Ай да молодцы! – хвалили ребята немецкую работу и немецкую заботу.

Гробы были двух видов – солдатские и офицерские. Правда, нашлось и десятка полтора совершенно особенных, массивных, можно сказать, знатных, наверное, предназначавшихся для старших военачальников. К чести немцев будь сказано, и те, и другие, и третьи были сде-

ланы на совесть: глубокие, из сухого дерева, дощечка к дощечке, да еще и посаженные на столярный клей, прямо-таки не гробы, а ладьи Харона.[1]

Гробов было так много, что хватило с лихвой всему батальону. Военфельдшеру Александре Домбровской достались два роскошных, наверное, генеральских: ребята всегда старались выбрать для нее все самое лучшее.

Гробы спускали на воду, а там каждый устраивался по своему разумению: кто ложился в гроб, кто садился; кто лицом к дальнему берегу, а кто – к ближнему; под весла приспособили доски, которых было вокруг навалом.

– Ба-та-льон, поехали! – негромко, но отчетливо скомандовал неподалеку от Александры комбат (Батя, отец родной), голос его передался от одного к другому, в обе стороны, и сотни гробов пустились в плавание. Бате было двадцать пять. Как и Александра, он родился в 1919 году. И судьбы у них были схожие: у нее погиб (официально – пропал без вести) муж, у него погибла жена.

Гроб, в котором оказалась Александра, был рассчитан на крупного мужчину, и ей плылось просторно. Левой рукой она придерживала бок о бок со своим второй гроб с медицинскими причиндалами, а правой рукой гребла дощечкой. И дощечку ребята дали ей легонькую, удобную. Чтобы сделать гребок с левой стороны, ей приходилось перегибаться через грузовой гроб, а с правой стороны было вообще удобно. Так случилось, что Александру усадили спиной к дальнему берегу, ребята так расстарались снести ее на воду, что она и ног не замочила. Да, она двигалась спиной, перед ее глазами были уплывающие в туман остатки штабелей на ближнем берегу, а вдалеке – Мекензиевы горы со всполохами разгоравшегося там нового боя. С каждой минутой бой набирал силу – небо там стало розовое, как будто солнце всходило.

Воздух заметно посвежел, подул легкий ветерок, прямо по курсу, и предрассветный туман чуть-чуть поднялся над зеркалом воды. Батя сказал, что ширина Северной бухты метров шестьсот-восемьсот, значит, плыть минут тридцать. Немцы вряд ли их ждут, так что желательно двигаться тихо-тихо, как кошка. Батя плыл в таком же, как и военфельдшер Александра Домбровская, генеральском гробу, поклажи у него не было, а из оружия только наган.

Александра вообразила себе кошку, перебегающую Северную бухту по воде, как посуху, и хихикнула. На всю жизнь Сашенька, Александра, Александра Александровна, так и осталась в душе маленькой смешливой девочкой. Вопреки всем несчастьям и тяготам она всегда была готова откликнуться на то, что могло показаться хоть чуточку смешным.

Она попробовала воду за бортом: не холодная, но и теплой не назовешь, в такой долго не протянешь. Туман лег плотней, и Батя дал команду не терять ближних из виду.

Генеральские гробы Александры терпко пахли свежим лаком. "Удивительный народ, – подумала она о немцах, – даже на фронте они лакируют гробы! Орднунг есть орднунг, как говорил мой незабвенный Адась… Такой на войне порядок – убивать лучших…"

[1] Харон (Charon) – в древнегреческой мифологии перевозчик, доставлявший на своей ладье по рекам подземного царства души умерших к вратам Аида.

# II

Белесый текучий туман приятно холодил разгоряченное лицо Александры, стелился над зеркалом глубоководной Северной бухты так низко, что иногда соседи совсем пропадали из виду и определить их можно было только по тому, как глухо стукались друг о друга гробы.

Едва проплыли в сплошном тумане первые тридцать-сорок метров, бойцы батальона приноровились, плавсредства перестали наезжать одно на другое, и пошла спокойная, яростная работа, нацеленная на главное: успеть до большого солнца, до того, как разойдется туман, к тому берегу. Не зря напутствовал Батя: "Мы должны подгадать так, чтобы немцы и не вспапашились!" Переговариваться между собой он категорически запретил, плыли молчком…

Александра примостила под спину вещмешок и полулегла на него. Так ей было удобней грести правой рукой и придерживать левой бок о бок со своим гробом второй – с грузом. Что-то твердое в вещмешке уперлось ей в поясницу. Александра поняла, что это кованый каблук сапога. В вещмешке у нее было все то же самое, что и в вещмешках у тысяч других фронтовичек, да еще хромовый сапог сорок третьего размера. Сапог в вещмешке Александры лежал один – левый… А на холщовом ушке изнутри голенища этого левого сапога было начертано химическим карандашом А.С.Д. – Адам Сигизмундович Домбровский…

Сашенька сама помечала холщовые хлястики новых сапог Адама, их подарил ему на свадьбу начальник госпиталя Грищук от себя лично и от имени хирургов, находившихся под началом Домбровского. Грищук сказал:

– Дарю тебе данные сапоги от себя лично и от имени твоих братцев-хирургов! И как бы далеко ты в этих сапогах ни ушел, всегда помни наш ППГ. В добрый путь!

Сапоги были на два номера больше ноги Адама, но это даже радовало: пока можно поносить их на теплый носок, а там и портянку сверху не грех намотать, зима, наверное, опять будет лютая…

К вечеру третьего дня официального Сашиного замужества госпиталь, в котором служили молодожены, был почти готов к передислокации, подбирали «хвосты». Начальник ППГ (полевого подвижного госпиталя) Константин Константинович Грищук так и скомандовал на общем построении:

– Подобрать хвосты! Осмотреться. Через двадцать минут всем быть готовыми к маршу. Ра-зой-дись!

Погода начала портиться еще с утра, всем стало понятно: прости-прощай, бабье лето! Небо заволокло рыхлыми тучами, было сыро и зябко. Далеко на востоке время от времени раздавалось тяжелое уханье, может быть, немцы бомбили прицельно, а может, просто сбрасывали груз, чтобы веселей удрать восвояси. К осени сорок второго года наша истребительная авиация уже многому научилась, да и ряды ее значительно пополнились, так что разбойничать безнаказанно немецким бомбардировщикам удавалось не всегда, хотя и удавалось.

После полудня наступила глубокая тишина. Госпитальный народ радовался тишине и тучам – с ними было спокойнее. А к вечеру неожиданно подул сильный верховой ветер, в тучах стали образовываться разрывы, а потом и прогалины голубовато-серого неба. Одна из таких прогалин, притом стремительно расширяющаяся, пришлась как раз над расположением госпиталя.

Грищук, Саша, Адам и его подопечные братцы-хирурги стояли тесной кучкой, вяло переговариваясь о том о сем. Все у всех было собрано, уложено, водители прогревали моторы, изготавливаясь к маршу, а остальные просто нудили, переживая известные своей никчемной унылостью последние предотъездные минуты.

– Фотки людям покажи, – попросил Адама Грищук, – покажи фотки!

– Саша, фотографии у тебя? – спросил Адам.

– Нет, у тебя в полевой сумке, – ответила Саша, – в дареной. – И она благодарно улыбнулась Константину Константиновичу.

– Да-да, вот они, – расстегнув кожаную полевую сумку, сказал Адам, достал пачку фотографий и пустил их по кругу.

– Ты глянь, как тучи растаскивает, – задрав голову к небу, сказал Грищук, – нехорошо! – И побежал к передней по ходу будущего движения автомашине. И всем было слышно, как он кричит, перекрывая шум двигателей, чтобы водители подавали вперед. Он кричал:

– Рассредоточиться! Интервал пятьдесят метров. Рассредоточиться!

Стоявшие близко друг к другу машины тронулись с места, поползли, растягиваясь по дороге.

– Какая разница – рассредоточиться, не рассредоточиться! – задиристо бросил младший из хирургов, рыженький тезка Саши, который был всегда не согласен с каждым предыдущим оратором.

– Не скажи, Александр, – не поддержал его хирург Илья, отличавшийся рассудительностью. – Правильно делает, наш Грищук порядок знает! А получились вы оба отлично, – добавил он, обращаясь к Адаму и Саше – стопка фотографий наконец дошла и до него, стоявшего последним в круге. – Как живые! Здорово!

– А небо почти голубое, и как быстро тучи расходятся, хорошо! – сказал кто-то за спиной Саши.

– Ничего хорошего! Чистое небо – жди бомбежки, – опять нашел причину возразить рыженький Александр.

– А ты не каркай! – осадил его Адам. – Я пойду гуталин возьму, почищу сапоги на дорожку! – сказал он Саше.

– Ну у тебя прямо пунктик! – засмеялась Саша. – Иди, начищай!

– И пойду!

– Товарищ главный хирург, возьмите, – протянул Адаму стопку фотографий Илья.

– И пойду! – не отрывая от Саши сияющих эмалево-синих глаз, повторил со смехом Адам и, не глядя, взял протянутые ему фотографии из рук Ильи.

– Иди, иди! – напутствовала его Сашенька и даже подмигнула на прощание. – Иди! – и повернулась в ту сторону, откуда бежал с заполошным криком Грищук…

А если бы Сашенька не повернулась вместе со всеми на крик Грищука, то она бы увидела, что ее Адам сначала двинулся к их грузовичку, а потом вдруг резко переменил направление и побежал к дальнему оврагу, заросшему кустами бузины и ежевики (куда, бывало, все бегали), побежал, еще не слыша ни Грищука, ни гула самолетов…

– Ло-жи-ись! – орал багровый от натуги Грищук. И в ту же секунду донесся до всех вой бомб…

Эта слепая бомбежка обрушилась, как стена, которую Саша видела во сне накануне. Конечно, все они распластались на земле… А бомбы сыпались одна за другой, и были среди них тяжелые, оставлявшие в земле огромные воронки… Конечно, на какое-то время все ослепли и оглохли… А когда воцарилась тишина, они услышали ее не сразу…

Автомашины остались целы, только на одной сорвало тент, зато потери среди людей госпиталь понес значительные. Были раненые, к счастью, легко, были контуженные. Погиб санитар Вася – маленький, хлипкий юноша, почти мальчишка, погибла сестра-хозяйка Клава, погибла зеленоглазая дородная медсестра Наташа, та самая, что с плачем убежала в перелесок, когда Грищук объявил о состоявшейся свадьбе Адама и Александры. Погиб Адам… Хотя тела его и не нашли. На краю одной из воронок, наверное, самой глубокой, обнаружили его сапог, так и не начищенный. А что это сапог именно его, подтвердила Саша по буквам А.С.Д., недавно собственноручно написанным ею на холщовом ушке изнутри голенища. И еще нашлась одна верная примета: черные края воронки были облеплены в нескольких местах какими-то белыми

квадратиками… Когда рыженький Александр полез в воронку и собрал квадратики, оказалось, что это фотографии, почему-то прилипшие тыльной стороной кверху, а изображением вниз. Видно, разлетелись… А там кто его знает? На войне во многих случаях никто не может ответить на вопрос – почему?

– Прямое попадание, – сказал кто-то за спиной Саши, и ему не возразили.

Все было безумно просто, тупо, бессмысленно…

Погибших похоронили в одной могиле, у кривой березки, возле песчаного карьера с озерцом, где еще совсем недавно купались Адам и Саша. В могилу бросили и горсть земли из воронки, которая осталась, видимо, на месте прямого попадания в Адама…

– Нет, все равно будем еще искать! – сказал Грищук после похорон и троекратного залпа над свежей могилою.

Искали до глубокой темноты, но никого и ничего не нашли.

– По машинам! – наконец скомандовал Грищук.

Александру, как куклу, подняли в фургон к медсестрам. Она крепко прижимала к себе хромовый сапог и за весь долгий ночной марш по ухабистым дорогам никому не сказала ни слова и не ответила ни на один вопрос. И на похоронах, и во время долгих поисков, и потом, в машине, она не кричала, не плакала, не билась в истерике. А фотографии, собранные в воронке, Грищук положил в полевую сумку, висевшую у нее через плечо. Сначала хотел было обтереть с них землю, а потом не стал, открыл сумку и сунул так, необтертые: земля-то на них непростая…

# III

Горе настолько ошеломило Сашу, что последующие дни она жила неосознанно, двигалась механически, молча, и никто не знал, заговорит она или нет. Пока однажды ночью соседки не проснулись от глухих рыданий и иступленного хрипа:

– Нет! Нет! Нет!

Оказалось, что Саша плакала во сне, а когда ее разбудили, вытерла слезы и тихо сказала:

– Простите, девочки!

"Простите" было первое ее слово в совершенно ином для нее мире – без Адама. С того дня Саша заговорила, но лишь односложно: «да», «нет», "не знаю", «возможно». Это последнее слово она употребляла наиболее часто, почти как ее мама слово "мабуть".

Во время операций Саша как всегда действовала четко и быстро, работала со всеми хирургами подряд, никому не отдавая предпочтения. Она была безучастна к сыплющимся со всех сторон добрым словам, а в свободное время смотрела в одну точку… И никто ничего не мог с этим поделать. Все понимали, что состояние ступора у Александры надолго, и никто не лез к ней с задушевными разговорами. О чем? О том, что жизнь продолжается? О том, что был Адам, а теперь его нет… Об этом много не поговоришь.

Наверное, Саша была на восьмой или на девятой неделе беременности, она этого точно не знала. Зато Грищук по косвенным признакам определил, что пора ей демобилизовываться на законных основаниях[2]. Почему он и вызвал Сашу к себе в штабную палатку, притом вызвал официально, через вестового. И принял ее вполне официально.

– Так, товарищ старшая операционная сестра, прошу подать мне рапорт об увольнении в запас в связи с тем, что ждете ребенка.

– Но… – хотела возразить Саша.

– Не нокай, не запрягла! У меня родная мать акушерка, я все ваши дела насквозь и навылет знаю!

– Но…

– Не нокай! Завтра мы тебя комиссуем. У меня все.

– Но…

– Через левое плечо кру-гом! Шагом марш!

Саша исполнила команду и вышла из палатки. Она предполагала, что, наверное, придется ехать домой, но не отдавала себе отчета в том, что это может произойти вот так, немедленно… Она вышла из палатки с удовольствием: запах гуталина от свеженачищенных сапог Грищука и прогорклый дух недавно выкуренной им махорки вызывали у нее рвотные позывы. Из всех запахов эти два – гуталина и табачного дыма – были ей наиболее отвратительны.

Саша вышла от Грищука не то чтобы растерянная, а какая-то новая. Она сразу подумала о маме, о том, что, значит, они скоро встретятся, и ей живо припомнилась их комната с окном в потолке, толстые, выкрашенные голубой краской трубы парового отопления вдоль стены, набитый книгами ларь у дверей, а потом вдруг промелькнула мама, кроящая распашонку на их столе, сколоченном из грубых сосновых досок, оттертых мамою кирпичом до желтоватого соломенного лоска… Ей даже почудился сладкоголосый плач еще не родившегося ребенка. Сердце Саши дрогнуло, и впервые за последние дни она робко, едва заметно улыбнулась краешками губ своему туманному будущему…

Саша улыбнулась, а Грищук, думая о ней, прослезился, он был скорый на слезу. Потом вызвал новую сестру-хозяйку и распорядился приготовить в дорогу Саше сатину, бинтов, марли, спирта, лекарств, консервов.

---

[2] На третьем месяце беременности женщинам на фронте полагалась демобилизация.

– Побольше, но смотри, чтобы это было подъемно для женщины.

К вечеру он снова вызвал Сашу к себе.

– Написала?

Она отрицательно мотнула головой.

– Садись, пиши. – И он уступил ей свой складной стул за низеньким складным столиком.

Саша написала рапорт, Грищук подписал его.

– Ну вот и все, Александра Александровна, – сказал он, не глядя ей в глаза. – С утра подготовим бумажки, и ночью полетишь в Москву. Я договорился с тем снабженцем, что возил твоей маме фотки, он обещал.

Саша ничего не ответила, хотя и подумала: "До завтра дожить надо".

– Все будет нормально, – уверил ее Грищук, – мы тебя не оставим, ты не думай.

Саша молчала.

– Вместо тебя кого назначить? Ты как советуешь?

Саша пожала плечами, и не потому, что уклонялась от ответа, а потому, что среди остающихся медсестричек было много равных и никого выдающегося.

– Ладно, сообразим. Ты адресок черкни московский. – Он подал ей истрепанную записную книжку.

Саша молча записала на свободном листке свой адрес и адрес больницы, в которой она прежде работала.

– Спасибо. Заеду после войны маленького повидать. О нем надо думать теперь, о нем…

Саша кивнула в знак согласия.

– Можешь идти, – разрешил Грищук.

Когда она вышла из штабной палатки, было полутемно, холодно, но моросивший весь день дождик прекратился и тучи настолько раздвинулись, что в вечереющем небе Саша увидела первую звезду; она-то и сбила ее с ног, не в переносном, а в прямом смысле. Шагая к себе в палатку, Саша засмотрелась на мутно поблескивающую звездочку и не заметила под ногами отрытый сбоку дороги окоп, довольно глубокий, наверное, метровый, в него-то она и попала двумя ногами сразу… Вроде осталась цела, но ударилась о дно окопа прямыми ногами так жестко, что отдало по всему телу – снизу вверх. Кое-как она выбралась из мокрого, обваливающегося под руками, осклизлого окопа. Ощупала ноги: как будто ни перелома, ни вывиха…

В палатке, где жила Саша, еще никого не было, и она успела привести себя в порядок до появления соседок. Ничего не болело, вроде все обошлось благополучно.

Перед рассветом у Саши возникли небольшие, но острые схваткообразные боли внизу живота. Потом она забылась. Рано утром соседки стали собираться на свою госпитальную службу и невольно разбудили Сашу. А когда соседки наконец ушли, вот тут-то все и случилось…

Ближе к полудню пришел вестовой от начальника госпиталя с приказом явиться в штабную палатку.

Она собралась с силами и явилась.

Из маленьких слюдяных окошек палатки сочилось так мало света, что в помещении было полутемно и Грищук не разглядел заострившийся нос Саши и белое лицо с бескровными губами.

У столика начальника госпиталя стоял набитый новенький вещмешок.

Грищук поднялся навстречу Саше, взял со стола документы.

– На, держи, в добрый путь!

Саша приняла из его рук свою армейскую книжку и предписание об увольнении ее в запас. Армейскую книжку она сунула в нагрудный карман гимнастерки, а предписание порвала напополам и положила на стол Грищука.

– Я не еду.

– Это еще почему?! – побагровел Грищук.

– Выкидыш. Разрешите идти?

– Что?! – Грищук придвинулся к ней вплотную. – Да ты белее мела! Потеря крови – не шутка! Так и загнуться можно!

– Скорей бы! – буркнула Саша. Ей действительно хотелось умереть, мучительно больно хотелось уйти в небытие. Но наложить на себя руки она не считала возможным – и как человек верующий, и как помнящий о своей маме Анне Карповне, оставшейся там, в далекой Москве, в пристройке к кочегарке с деревянным ларем, набитым книгами, с толстой голубой трубой парового отопления вдоль стены и с окошком в потолке, крест-накрест заклеенным полосками, вырезанными из газет.

– Молчать! Марш за мной в операционную! – И, подтолкнув Сашу под локоток, Грищук вывел ее из штабной палатки.

# IV

Она писала рапорт за рапортом, одержимо рвалась на передовую и все-таки добилась своего. В феврале 1943 года через того же грищуковского снабженца из штаба фронта ей наконец удалось «устроиться» военфельдшером в штурмовой батальон морской пехоты.

– И куда ж я тебя отдаю, деточка? Это ж из пекла в пекло, из боя в бой! – сказал Грищук, прощаясь с Александрой. – И чего тебе на память дать? – Он сковырнул корявым пальцем слезу из левого глаза и, вдруг просияв, отстегнул от пояса кобуру с пистолетом. – Вальтер, проверенный, бьет без осечки, держи! – Он протянул ей пистолет в кобуре из мягкой кожи. – Ладно, будь жива-невредима! – Не в силах говорить, Грищук ссутулился и пошел в штабную палатку. А Александра попрощалась со всеми разом, без рассюсюкивания, подняла вверх руку, дескать, всем привет, села в грузовичок и уехала навсегда из ППГ, с которым в ее жизни было связано так много прекрасного и страшного.

Грищук все сказал правильно: с батальоном морской пехоты она так и шла из боя в бой, из пекла в пекло. Сначала она искала смерти, а потом это прошло. Сначала она горела жаждой мщения немцам, но потом и это прошло, притупилось. Ее неукротимая воля, знания и умение спасли жизнь многим. Только к этому она и стремилась теперь – спасти своих, спасти и сохранить…

До сегодняшнего штурма Севастополя почти весь личный состав батальона меньше чем за полтора года сменился на глазах Александры трижды – выбивали. Хотя были и такие, как военфельдшер Домбровская, – заговоренные, которых ни в одном бою даже не царапнуло. На то она и война… Заговоренный был и их комбат – Батя… До комбата он поднялся меньше чем за год от командира взвода разведчиков. Батя был невысок ростом, коренаст, со спины – мужчина, а с лица – мальчишка мальчишкой, как будто ему было не двадцать пять, а лет восемнадцать.

– У меня и мама такая, – объяснил он насчет своей моложавости Александре. – Когда я пошел на войну, ей уже тридцать восемь лет было, а все думали, что она моя сестра, а не мама, вы представляете?!

Лицо у Бати было смуглое, чистое, скуластое, с чуть раскосыми монголовидными глазами серого цвета, точнее сказать, то серого, то зеленого, то почти голубого – в зависимости от настроения. У него было много хороших качеств: он был бесстрашен, добр, вспыльчив, забывчив на плохое и памятлив на хорошее, прямодушен и вместе с тем склонен к лести, точнее – безоружен перед похвалой, пусть даже и чрезмерной. У него было исключительное чувство юмора, притом в огромном для его лет диапазоне, и он не упускал ни малейшей возможности посмеяться, в том числе и над самим собой. Последнее располагало к нему сослуживцев, особенно подчиненных. Батя пришел на войну с третьего курса физико-математического факультета, кажется, смоленского пединститута. Да, наверное, смоленского, потому что его жена погибла под бомбежкой в первые дни войны. Он был неистощим на всякого рода военные хитрости и проделки, многие из которых казались на первый взгляд ребячливыми. Поэтому командование относилось к нему как к слишком азартному и не вполне серьезному командиру, которому просто везло, да и только! То однажды, в ночном бою, он приказал одной из рот батальона раздеться до нижнего белья и так пойти в атаку на немцев; то организовал страшный грохот, велев захватить на подвернувшемся по пути заводике оцинкованные ведра и бить по ним прикладами автоматов, – не всему батальону, а только двум ротам, которым дал команду обходить противника с флангов, а тем временем без лишнего шума устроил основными силами прорыв в центре немецкой обороны; то, правильно рассчитав ветер, поджег летней ночью в степи ковыль, направил летучий огонь в сторону противника, а сам обошел немца по балкам, с левого фланга и ударил ему в тыл; был даже случай, когда Батя использовал стадо

коров и его бойцы подошли под их прикрытием максимально близко к немецкой обороне и смяли ее. Командование хотя и считало Батю человеком хулиганистым, несерьезным, но прощало ему многое, прежде всего потому, что он выигрывал, а победителей, как известно, не судят. Тем более все знали о его личной храбрости, не раз и не два он первый поднимался в атаку. Его считали везунчиком, и никто наверху не хотел видеть, что за этим везением стояли не только оголтелая дерзость и удаль молодецкая, но и холодный расчет, и умение руководить подчиненными, и удивительная способность видеть все поле боя, а не отдельные группы бойцов, выполняющие каждая свой маневр.

Фамилия у Бати была татарская, а звали его Иван Иванович. Когда они познакомились, Саша сказала ему, что он похож на писателя Александра Куприна.

– Спасибо, Александра Александровна, – сказал Иван Иванович, – такого мне никто не говорил. А Куприна я читал – «Гамбринус», «Олеся», "Гранатовый браслет". Мне эту книжку жена подарила, еще когда была моей невестой. – Он замолчал, отвернулся, и разговор дальше не склеился. В тот момент Саша еще не знала о его горе, но поняла, что продолжать беседу не стоит, и отошла от него как бы под предлогом каких-то своих дел.

Еще недавно была она Сашенькой, Сашей, а в батальоне стала Александрой Александровной… Женщинам тяжелее на войне по многим причинам, в том числе и потому, что они в меньшинстве, и потому, что женщине на войне, как правило, надо к кому-то прибиться, быть чьей-то фронтовой женой или пассией, хотя бы формально. Александру Александровну эти проблемы не занимали: всякого, кто лез к ней с ухаживаниями, она обдавала таким леденящим душу холодом, что охота у героев-любовников отпадала сразу. Как-то в первый месяц ее службы в батальоне она случайно услышала, как Иван Иванович, бывший в то время еще командиром взвода разведчиков, сказал одному бравому офицеру:

– У человека такое: муж, ребенок… так что лезть не советую.

Из этих слов она поняла, что Иван Иванович откуда-то знает о ней главное. "Что ж, знает, так знает", – подумала Александра, улучила момент, когда Иван Иванович был один, и сказала ему как бы нехотя, мимоходом:

– Заступаться за меня не нужно. Пулю в лоб я сумею послать любому.

– И мне? – широко улыбнулся Иван Иванович.

– И тебе! – так же добродушно и ласково улыбнувшись ему в ответ, отчетливо произнесла Александра.

– Молодец! – засмеялся Иван Иванович. – Вот это я уважаю!

– Взаимно! – усмехнулась Александра. – Будь здоров! – И потрепала его по щеке, как мальчугана.

Наверное, с того дня он и влюбился в военфельдшера батальона Александру Домбровскую. Все эти месяцы он изо всех сил не подавал виду, что влюблен, но, пожалуй, не было в батальоне человека, который бы не догадывался об этом. Догадываться догадывались, но молчали. Во-первых, все знали Батю… А во-вторых, за время службы в батальоне Александра стольких спасла и столько раз рисковала жизнью на глазах у всех, что бойцы почитали ее как святую, в глаза они звали ее строго по имени-отчеству, а за глаза – Шурочкой, они даже не ругались при ней матом, что казалось совершенно неправдоподобным…

…И вот она плыла в немецком генеральском лакированном гробу по Северной бухте Севастополя, той самой, о которой рассказывала мама в день их откровения и от пирса которой, видимо, ушла в вечное плавание ее старшая сестра Мария, а еще раньше, 5 ноября 1914 года, ушел в свой первый и последний бой старший брат Евгений. Туман приятно холодил щеки и уже начал расслаиваться на волокна, и было видно вокруг все больше бойцов батальона…

"Интересно, – подумала Саша, – а что там, в Москве, делает сейчас моя мамочка? Она ведь рано встает". – И мысли ее и душа улетели за тысячи километров в родную «дворницкую» с окном в потолке, к маме…

# V

"Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о первосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят… И ей в самом деле не все верили".

Дочитав любимый ею рассказ Антона Павловича Чехова «Архиерей», Анна Карповна закрыла книгу, подошла к деревянному ларю у дверей, бесшумно подняла тяжелую крышку, положила томик на место, к сотням других хранящихся там книг, замкнула ларь на висячий замок и только тогда успокоилась. С тех пор, как ушла на фронт ее дочь Александра, Анна Карповна стала тайно позволять себе то, чего не разрешала прежде, – читать книги. Слава Богу, натаскали они с Сашенькой с помойки полный ларь удивительно разных, прекрасных книг из библиотеки профессора, чью квартиру после его смерти и смерти его жены заняли "на уплотнение" жильцы, далекие не только от литературы, но и от письменности. И никто во дворе их большого московского дома уже не помнил, что это был за профессор, чем занимался. Хотя в свое время он был увенчан многими почетными званиями и его щедро, почти как ровню, одаривали своей дружбой Павлов, Вернадский, Ухтомский и другие корифеи науки…

Анну Карповну всегда удивляло и больно ранило великое беспамятство жизни. "Как же так? – думала она. – Была Россия, была у людей Вера, был, хотя и неважный, но все-таки царь, а теперь все сметено, ошельмовано, одурачено и как будто даже само летоисчисление начато не от Рождества Христова, а с 1917 года… Видно, такая русская доля – поговоришь с каждым в отдельности, вроде нормальный, умный человек, а все вместе – толпа, которую могут взять в оборот и унизить до полускотского состояния урки и недоучки, не имеющие за пустой душонкой ничего, кроме непомерных амбиций, лютой жестокости, алчности, наглости, заменяющей им все людские добродетели. И всегда, всякий раз история Государства Российского пишется заново, новыми холуями… А разве с Романовыми было не то же самое, что и с нынешними владетелями живых и мертвых душ? Они ведь тоже начали писать историю страны с 1613 года, повесили наследника престола, трехлетнего Ивана, и начали… Боже, неужели так будет и после советской власти? (В том, что советская власть изживет себя, Анна Карповна никогда не сомневалась.) А что будет после? Будет ли лучше? Опыт всего человечества показывает, что вряд ли… Не зря ведь сказано в Писании: "За тощими коровами идут худые…"

С 1920 года, с той самой минуты, как Анна Карповна доподлинно убедилась в смерти мужа, она стала чувствовать себя каждый следующий Божий день, как солдат в окопе на передовой. Наверное, поэтому все эти годы она ничем не болела и не переломилась, а только окрепла на тяжелой работе. Бог отнял многое, но оставил здоровье и ей, и ее дочерям. Правда, отнял ее первенца, Евгения, павшего в морском бою с немцами 5 ноября (по старому стилю) 1914 года.

С тех пор, как она открылась Александре, а особенно с того дня, когда ушла доченька на войну, в душе Анны Карповны произошли большие изменения. Все эти годы она чувствовала себя при живых детях: при Александре, которая была рядом, и при Марии, которая хотя и скиталась неизвестно где, но все равно занимала свое место в ее материнской душе. Она была при детях до такой степени, что даже не ощущала себя как отдельно взятого человека. А теперь Анна Карповна вдруг осознала то, что было с нею когда-то давным-давно и вдруг вернулось: осознала свое Я, свою отдельность в этом мире, свое тело, свою душу.

Началось все с того, что примерно через месяц после отъезда Сашеньки на фронт Анна Карповна приснилась себе маленькой девочкой. Шли они куда-то с прабабушкой Екатериной

Ивановной по летней проселочной дороге, заросшей по обочинам гусиными лапками, день стоял нежаркий, хотя и ясный, наверное, это было где-то вблизи их родовой усадьбы. В полушутку, в полусерьез прабабушку звали в семье Екатериной Великой. Она отличалась жестким нравом, всем без исключения говорила «ты», нюхала табак из серебряной табакерки, а потом чихала в белый батистовый платок так сладко, так радостно, что однажды и внученька попробовала украдкой "нюхнуть табачку", да чуть не задохнулась, и голову ей так прострелило, что плакала она не наплакалась.

– Не будь дурой, Нюся! – сказала ей тогда прабабушка. – Что позволено Юпитеру – не позволено быку!

– А почему быку? – спросила сквозь слезы любопытная Нюся.

– А кто его знает? Поговорка такая. Я ведь тоже у тебя дура – даже гимназию не окончила, в шестнадцать лет сбежала под венец с жандармским офицером, уж больно усы показались мне у него хороши! А как меня за это распекал мой грозный батюшка: "Ты графиня!" А я ему ничего в ответ, ни полсловечка, хотя подумала то, что и сейчас, на старости лет, думаю. Да, Нюся, мы из графьев, ну и что? Что тебе, деточка, сказать про графьев, князьев и прочих баронов? Они ведь все или из разбойников, или из бандитов, или из прощелыг первоначально произошли – не бывает на свете праведно нажитого большого богатства. Средненький достаток можно и трудом сколотить, а большое состояние честью никому не дается. Только после того, как урвут эти графья-бароны, только после этого они и наряжаются в кружева да в ленты, а на первых порах все с ножиком за голенищем – это, конечно, если зрить в корень.

Такая была прабабушка – любила поколебать устои в сознании окружающих. И не особенно считалась с тем, кто перед ней – взрослый или ребенок, в памяти которого каждая соринка оседает, как на мелком ситечке, ничто не ускользнет бесследно.

И вот приснилось, что шли они с прабабушкой по летнему проселку, наверное, полем, а может быть, лугом, было светло вокруг, чисто и так радостно, что даже и после того, как Анна Карповна проснулась, хватило ей этой радости на несколько часов. Радовалась, и пока читала «Архиерея», и когда собиралась к своим ведрам-тряпкам, и потом, когда уже подметала чуть свет в квадратном внутреннем дворе их большого дома. Предутренний туман быстро рассеивался, солнечные лучи как бы приподнимали его над землей, от росы все блестело, искрилось, вспыхивало розовым лоском. Видеть это было радостно тем более, что в душе еще оставались картины только что прочитанного чеховского рассказа и воспоминания о прабабушке, и как всегда мелькали мысли о Сашеньке: где она сейчас, как? Теперь вот уже и Сашенька вдова… и ей самой за шестьдесят, а вроде и не жила… Хотя было у нее как бы даже целых три жизни: сначала одна, потом вторая, а теперь, без Сашеньки, третья… Эта простая мысль о трех ее разных жизнях никогда прежде не останавливала внимание Анны Карповны, наверное, оттого, что в последние годы у нее фактически не было досуга. А еще Марк Аврелий сказал: "Старайтесь иметь досуг, чтобы в голову пришло что-нибудь хорошее".

За все свои немалые годы Анна Карповна впервые осталась одна и не на день, не на два, а Бог знает до какого времени! И в девичестве, и в замужестве семья у нее была большая, шумная, хлопотливая, со своим строем жизни, своими установлениями, историями, анекдотами, розыгрышами. Так что в той, первой жизни жилось ей до поры до времени упоительно, весело, и, главное, казалось, что надежно, на веки вечные. Пока не покатилось все в тартарары в одном и том же 1914 году. Сначала умерла прабабушка Екатерина Ивановна, затем мать Анны Карповны Евдокия Петровна, а 5 ноября 1914 года погиб в морском бою с немцами девятнадцатилетний сын Евгений.

Анна Карповна вышла замуж в шестнадцать лет и родила своего первенца в неполные семнадцать. Родила легко, как это и бывает в юные годы. Скорее всего из Евгения со временем сформировался бы выдающийся человек. С двенадцати лет он был одержим страстью написать историю Российского черноморского флота и с необыкновенной энергией собирал всевозмож-

ные заметки, свидетельства, реликвии, рисунки маринистов и другие материалы по истории Черноморского флота, а также вел свои собственные записи. На толстенной папке, в которую он складывал все, на его взгляд, самое важное, было начертано: "Сведения к Истории Черноморского Флота России". Он был гардемарином Севастопольского морского корпуса и в связи с тем, что 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, был экстренно произведен в мичманы и отправлен на линейный корабль "Евстафий"[3]. Служба его была недолгой… В свой первый и последний боевой поход его корабль отправился от пирса Северной бухты Севастополя, того самого, где разлучила их семью толпа и к которому Александра Александровна плыла теперь, крадучись, в немецком гробу…

[3] 5 ноября по старому стилю линкор «Евстафий» принял бой с немецкими крейсерами «Гебен» и «Бреслау». Бой состоялся у мыса Сарыч и начался в 12 часов 20 минут. Дуэль между «Евстафием» и «Гебеном» продолжалась всего 14 минут, и по сведениям военных историков на «Евстафии» было убито 5 офицеров и 29 матросов (24 человека ранено), а на «Гебене» убито 12 офицеров, 103 матроса (ранено 57 человек).

# VI

Каблук сапога с левой ноги Адама все упирался в поясницу, но Александра нарочно не меняла положение рюкзака, так было ей хорошо, так вспоминалось невольно о днях мимолетного счастья.

Александра не видела Адама мертвым, и это давало ей хотя и крохотную, хотя и призрачную, но все-таки надежду… Как любящая женщина она помнила о нем все: от первого прикосновения его руки к ее руке, от первого прикосновения его губ (все хирурги, с которыми она знакомилась в госпитале, пожали ее протянутую руку, а Адам церемонно поцеловал) до черной воронки, глубоко развороти вшей землю, воронки, лоснящейся в верхнем слое жирным черноземом, который облепляли белые квадратики фотографий, а дальше, в глубину, меняющей цвет земли на темно-коричневый, темно-серый, серый – воронка была от тяжелой бомбы, наверное, метра четыре в глубину и метров семь в диаметре, а недалеко от ее края, наверху, валялся одинокий сапог, вокруг росли гусиные лапки, еще зеленеющие кое-где, хотя и опаленные взрывом…

Александра помнила Адама живым, не представляла его мертвым. Ничто не могло убедить ее до конца в том, что Адама нет на свете. Без вести пропавший – это еще не значит умерший… может быть, просто весть пока не дошла. Александра ждала мужа каждый день, каждую минуту, ждала всегда. Она часто видела его во сне, случалось, он мерещился ей наяву или слышался его голос.

…Но все-таки сначала ей показалось, что его убили, что он сгинул в той воронке. Только поэтому и смог Грищук увезти ее к месту новой дислокации госпиталя. Да, ей так показалось, и она словно окаменела на долгих два месяца, а потом, наверное, через неделю после потери ребенка Александра вдруг почувствовала Адама как живого… Это случилось во время сложной полостной операции, когда Александра давала наркоз, – внезапно она увидела Адама в полутемном углу палатки, почему-то он лежал голый и облепленный жухлыми листьями. Видение продолжалось долю секунды, Александра едва не выпустила из руки маску, которую держала на лице оперируемого, но, собравшись с силами, довела операцию до конца. Оперировал ставший главным хирургом Илья, но его взгляд был прикован к операционному полю, и он не заметил ничего странного в поведении ассистентки.

…А Адам действительно лежал голый, облепленный мелкими жухлыми листьями боярышника, и когда его увидел мальчишка-альбинос, тот самый внучок красавицы Глафиры Петровны, что сочетала законным браком Адама и Александру, когда его увидел Ванек, продиравшийся сквозь кусты по оврагу, в ту самую секунду Адам, на свое счастье, упал с боку на спину.

– Та вин живой! – вскрикнул белобрысый Ванек. – Ты чуй, Ксенька!

Пробиравшаяся за Ваньком русая сероглазая девочка лет двенадцати испуганно заглянула через плечо приятеля.

– Живой, только раздетый, – подтвердила Ксения, у которой и мать и бабушка были учительницами русского языка. Подтвердила и зарделась: никогда прежде не видела она взрослого мужчину во всем его естестве.

Тело Адама было восковой белизны, а лицо и шея коричневатые, продубленные солнцем и ветром, отчего создавалось впечатление, что его прекрасная голова лежит как бы отдельно, будто отрубленная.

Ванек увидел смущение своей подружки, и оно ему очень не понравилось. Не умом, не сердцем, а инстинктом понял Ванек, что Ксению поразил лежавший на спине нагой мужчина, что она почувствовала к нему что-то такое, чего никогда ни к кому не чувствовала, и что с этого момента она ему, Ваньку, больше не Ксенька-половинка, не ровня – теперь уже раз и навсегда.

– А шо ж робыть? Мы ж яго не дотягнем! – воскликнул Ванек.

– А ничего! – решительно сказала Ксения. – Ты давай в поселок за телегой, а я тут посторожу. – И в глазах ее блеснул такой непререкаемый огонек, что мальчик не посмел противоречить.

Ванек прихватил с собой банку тушенки в солидоле и побежал в поселок. Они ведь с Ксенией пришли сюда, на место ППГ, не просто так, а в надежде поживиться чем-нибудь брошенным или забытым при отъезде. Но успевшие до них мародеры, которые, конечно же, и раздели Адама догола, прочесали местность так тщательно, что, кроме банки тушенки, большого пузырька йода, двух вафельных полотенец да пяти простынок, залитых лекарствами и кровью, дети ничего не нашли, если не считать Адама…

До райцентра, откуда пришли дети, было всего четыре километра, и в тот злополучный вечер, когда немец отбомбил ППГ, краем досталось и поселку, совсем краешком упала всего одна бомба, но зато прямым попаданием в домик загса. К счастью, за полчаса до налета Глафира Петровна вдруг ни с того ни с сего решила уйти домой раньше времени, подумала в свое оправдание, что вот-вот грянет дождь, что дорога размокнет, и тогда она обязательно оскользнется и упадет. И как ее поднимать тогда Ваньку?

Загс сгорел дотла. Глафира Петровна с внуком успели отойти всего метров на четыреста, так что они видели все своими глазами.

– Сгорели мои бумажки, – сказала Глафира Петровна по-русски, глядя на островерхое зарево пожара. – Все, ни одной писульки, наверное, не осталось! Сколько ж людей теперь без документов!

Так оно и случилось: все делопроизводство загса развеял ветер, горячий ветер пожара; как черные птицы, летали высоко в восходящем потоке воздуха чьи-то зарегистрированные судьбы – смерти, рождения, браки, в том числе и брак Адама и Александры.

А на другой день после бомбежки, когда Глафира Петровна вместе с Ваньком и Ксенией доковыляла до пепелища своей бывшей службы, дети оставили ее и побежали к месту бывшего госпиталя в надежде чем-нибудь разжиться. И вот теперь Ванек гнал назад в поселок, а Ксения осталась при Адаме.

Было довольно солнечно и даже здесь, в овраге, светло, так что оставшаяся один на один с Адамом девочка могла разглядеть его как следует, но она стеснялась и смотрела только на его лицо, шею, грудь. Наконец, Ксения рискнула прикоснуться к его плечу – оно оказалось податливое, живое, и она очень обрадовалась, а то на секунду ей показалось, что лежащий перед ней на спине мужчина мертв. Она слышала от бабушки, что для того, чтобы узнать, живой человек или нет, надо поднести к его губам зеркальце, и если оно запотеет – значит, живой. Но зеркальца у нее не было. И она решилась подоткнуть ему под поясницу и спину простыни и полотенца, на всякий случай: земля ведь холодная. Адам не шелохнулся. Ксения поступила правильно – одно дело, когда он лежал на боку, а теперь, когда упал навзничь, вполне мог застудить и почки, и легкие. Потом Ксения осмелела еще больше, встала на колени и приложила левое ухо к левой половине груди Адама, туда, где, по ее мнению, должно было быть сердце… Она слушала затаив дыхание и ничего не слышала… И тогда она заплакала и стала трясти Адама за плечи и приговаривать:

– Дяденька, родненький! Дяденька, не умирай!

Потом она опять приложила ухо к его груди и в какой-то миг услышала нитевидные, еле уловимые удары его сердца. Ксения была так рада, что поцеловала Адама в грудь и в щеку, и тут же отскочила от него в испуге. Такого она от себя не ожидала, все получилось как-то само собой…

Ксения Половинкина была хрупкая, болезненная девочка, главное, что ее пока украшало, – это толстые косы чуть выше пояса. Мама хотела обрезать волосы "из санитарных соображений", а бабушка не дала, сказала: "Я ее волосы возьму на себя". И взяла, в смысле регу-

лярного мытья золой (мыло было на вес золота), расчесывания, заплетания, расплетания. У Ксении был высокий, чистый лоб, правильные черты лица, пухлые губы, большие серые глаза, внимательно смотревшие на мир, очень цепко. Телосложения, как говорила бабушка, у нее пока не было, а только одно "теловычитание".

Семья Половинкиных эвакуировалась из Смоленска. Отец Ксении воевал на фронте рядовым солдатом, а они как добежали до этого райцентра, так и остановились – бежать дальше не было сил, к тому же их приютила одинокая женщина, у которой пустовал дом, взяла к себе на постой из жалости. Люди в те времена были добрее – общая беда делала их понятнее друг другу. В райцентре работало две школы. И в той, что была поближе к дому, стала преподавать русский язык и литературу бабушка Ксении по отцу, Татьяна Борисовна Половинкина, а мать Ксении, Валентина Александровна Половинкина, стала вести русский язык и литературу в той школе, что была подальше от дома. Работать в одной школе невестка и свекровь почему-то не считали возможным. В школах выдавали хлебные карточки, сухие пайки, подсолнечное масло – в общем, жизнь была сносная.

Если взять народ России с запада до Волги, то здесь из века в век жили очень бедно и голодно. Из века в век на этой территории правители успешно боролись со своим народом – вырезали его, морили голодом, гнули в бараний рог непосильной работой. Так что когда сейчас, в начале XXI века, случается, говорят: "Что же это у нас такой народ смирный, народ-непротивленец?" – то профессор биохимии Ксения Алексеевна Половинкина отвечает:

– А это оттого, что народ наш никогда не щадили, ни в мирное, ни в военное время. Это оттого, что лучшие из лучших вырезаны много раз, или растерты в лагерную пыль, или прокатаны бутылкой, как тесто на лапшу. И удивляться надо не нашей покорности, а тому, что мы еще не сломлены до конца, тому, что, чуть только дунет ветер в наши паруса, возродится Россия мгновенно. В этом смысле на нас похожи немцы. Например, в 1920 году и Россия, и Германия были так разгромлены, так унижены, пребывали в такой нищете[4], что многим со стороны казалось: подниматься этим странам сто лет. А что было на самом деле, все знают…

1930 года рождения Ксения Половинкина была далека от политики и тогда, осенью 1942 года, и позже – вплоть до прихода антисоветской власти, но тут-то ее бес и попутал, тут-то она и возомнила, тут-то и поддалась искушению настолько, что согласилась, чтобы ее записали в депутаты, как позже она смеялась, в «депутаны». Но до этого было еще ой-ой-ой сколько всякого разного, а пока она, двенадцатилетняя Ксения Половинкина, охраняла лежавшего в беспамятстве взрослого мужчину, на которого, впрочем, никто не покушался, кроме одной-единственной зеленой, с металлическим отблеском, наглой мухи, которая залетела сюда наверняка с помойки бывшего госпиталя. Муха была мерзкая, жужжала и норовила сесть на лицо Адама; став на колени, Ксения сначала отгоняла ее ладошкой, а потом нашла хорошую веточку боярышника с еще не облетевшими листьями, сломила ее, встала с колен и начала отгонять муху веточкой. Получалось хорошо, но гадкая муха никак не хотела улетать, и девочка отгоняла ее так упорно, так ответственно, как еще никогда прежде не делала ни одного дела. Всю жизнь она будет вспоминать эту зеленую, большую помоечную муху. Но, сколько муха ни старалась, Ксения так и не позволила ей ни разу сесть на недвижное тело Адама. Наконец муха сдалась и улетела, а Ксения даже заплакала от радости, что победила, выстояла!

Часа через два с половиной приехали на телеге Глафира Петровна, ее взрослая дочь Екатерина, по-домашнему Катька, и ее "в подоле принесенный" сын Ванек. На рытье окопов Катька набралась такой силы, что одна выволокла Адама из оврага и потом, уже с помощью сидящей в телеге Глафиры Петровны, устроила его и там, уложила как следует на набитый соломой матрац.

[4] В 1920 году буханка хлеба в Германии стоила 4 миллиарда марок – одну тачку.

– Хосподи, дак я ж яго бачила! – всплеснула руками красавица Глафира Петровна и закончила по-русски: – Славный мужчина, недавно я его сочетала законным браком… Из госпиталя и он и она, еще у них такой усатый начальник был… Хосподи! А как звать, убей Бог, не помню!

– Припомнишь! – уверенно сказала Катерина, садясь на козлы рядом с матерью. – Но-о! – хлопнула она вожжами по тощему крупу пегой кобылы, которую снарядил им председатель колхоза, как и Глафира, одноногий Федор Иванович.

Лошадь сдвинула телегу с места и не спеша поплелась проселком в сторону райцентра. Ванек и Ксения пошли сзади телеги – постеснялись влезть в нее рядом с голым Адамом. Вокруг лежали заросшие бурьяном поля, вдалеке, слева, блестела тонкой слюдяной полоской мелководная речка, в которой сейчас воробью по колено, а весной такое полноводье, такой клекот стремительно несущейся мутной воды, что бывали годы, когда поселок подтопляло, да так, что плавали по нему на плотах из бревен и досок, лодок-то здесь ни у кого не было. Зачем они здесь, лодки?

Когда наконец подъехали к дому Глафиры Петровны, невысокого роста, но очень крепкая Катерина сумела стащить Адама из телеги по соломенному матрацу, так, что ноги его свесились. Тогда она подлезла под него спиной и, обхватив его руками свою шею, взвалила Адама на себя и поволокла в дом, правда, ноги его слегка волочились по земле, но тут было не до тонкостей. Дом состоял из двух комнат: большой и маленькой, которые так и назывались. Большая была квадратная, метров шестнадцать, а маленькая – узкая, метров десять. Сначала Катерина положила Адама на чистый половичок в большой комнате. Тут подоспели Глафира Петровна и Ванек с Ксенией.

– Не пялься на него, блудня! – перехватив прицельный взгляд Катерины, рявкнула Глафира Петровна. – Воды лучше согрей! Чистое полотенце, и в воду чуток уксусу, в тазик, я его сама протру.

Согрели на керосинке воду, налили в таз, добавили уксусу, и, взяв из рук Катерины чистое полотенце, Глафира Петровна, усевшись на пол, тщательно, ловко обтерла Адама с головы до ног полотенцем, смоченным в теплой воде с уксусом.

Адам так и не приходил в сознание.

– Надо зеркальце к губам приставить! – горячо посоветовала Ксения.

– А чего приставлять! Он живой, только без сознания, – сказала Глафира Петровна, – даст Бог, выходим!

# VII

Штурмовой батальон морской пехоты преодолел на своих уникальных «плавсредствах» две трети пути, отделявшего его от вражеских позиций, от пирса Северной бухты.

Враг был спокоен – Северная бухта Севастополя, с ее глубиной в тридцать-сорок метров, считалась непреодолимой преградой. Случилось так, что все немецкие корабли и даже сторожевые катера накануне были выведены в открытое море, чтобы не помешать возможной перегруппировке сил противника.

Часовые на пирсе, борясь с дремотой, поглядывали поверх затянутой туманом бухты в сторону Мекензиевых гор, откуда, хоть и приглушенные, но все-таки доносились звуки ожесточенного боя и даже иногда виднелись сквозь туман едва заметные глазу всполохи огня.

Как это бывает перед самым рассветом, туман лег еще плотней, прижался к воде, казалось, из последних сил, понимая, словно живое существо, что еще немного, и его разрежут на куски и поглотят лучи восходящего солнца, пока еще пробивавшегося далеко на востоке лишь слабым пятнышком, правда, все расширяющимся с каждой минутой и розовеющим на глазах.

Прошли еще метров сто пятьдесят, наиболее зоркие из бойцов стали различать зыбкие контуры пакгаузов.

– К атаке приготовиться! – шепотом скомандовал Батя, и его слабый голос, как костяшки домино, упал и налево и направо – от одного человека к другому.

В это время на пирсе раздались мерные клацающие удары кованых сапог – караул заступал на смену.

– Zwo, drei, vier![5]

– Links![6]

– Стой!

– Пост сдал!

– Пост принял! – звучала отрывистая немецкая речь.

– Vorwdrts marsch!

– Zwo, drei, vier!

– Zwo, drei, vier!

– Vorwdrts marsch! – И кованые сапоги вражеских солдат четко ударили вслед за разводящим.

До пирса оставалось метров двадцать, бойцы уже различали в туманном молоке фигуры немцев, а те были настолько увлечены разводом караула, что ничего другого не видели и не слышали.

– О-гонь! – приподнимаясь в гробу на одно колено, громогласно скомандовал Батя.

Шквал ураганного огня накрыл весь пирс Северной бухты. Немцы настолько опешили, что не оказали десанту практически никакого сопротивления: многие из них были убиты на месте, многие ранены. Быстро заняв пирс, бойцы штурмового батальона ворвались кто в караульное помещение, где вскакивала спросонья третья смена, а кто в казарму, стоявшую за пакгаузами, у самого выхода в город. Здесь, в порту, дело было решено вместе с первыми лучами большого солнца.

А когда солнце взошло в полную силу и осветило округу, все могли наблюдать сотни гробов, дрейфующих в Северной бухте. Это зрелище произвело на немцев ужасающее впечатление. Особенно на командиров, ответственных не только за свои, но и за многие другие жизни.

---

[5] Почему zwo, а не zwei? Возможно, это застывшая форма, вроде нашего: "Ать! Два! Три!".

[6] Левой!

И все-таки противник преодолел шок и начал яростно сопротивляться. Но плацдарм был уже захвачен, атакующие порядки русских заняли укрытия, рассредоточились, и врагу пришлось смириться с потерей Северной бухты, тем более что и с юга и с юго-востока в эти минуты началось одновременное наступление наших войск.

Видимо, немецкий начальник севастопольского гарнизона смекнул, что дело пахнет клещами, а то и полным окружением. Смекнул и начал выводить своих солдат и офицеров из города, в сторону Херсонесского мыса, на соединение с крупной группировкой немецких войск; туда, где в случае поражения можно было рассчитывать на эвакуацию на своих кораблях. К чести немецких военачальников нужно сказать, что они щадили вверенные им жизни и всегда стремились к наименьшим потерям.

Еще засветло Севастополь был очищен от оккупантов. Белый до войны город зиял серыми развалинами и языками черной копоти на стенах, но это был все тот же великий город русской славы!

Штурмовой батальон морской пехоты не потерял ни единого человека, было лишь несколько легко раненых. Александра Александровна со своими санитарами и санитарками управилась с ними в два счета.

По праву первых штаб батальона, взвод разведки, связисты и Александра Александровна со своей командой разместились в гостинице с видом на Северную бухту. В широких коридорах гостиницы постройки XIX века удушливо пахло мужским одеколоном, кремом после бритья, гуталином, трубочным табаком – прежде здесь размещалась немецкая комендатура и верхушка гарнизона, в основном офицеры, если не считать нескольких денщиков; охрана жила в пристройке к гостинице.

Внезапный удар батальона морской пехоты фактически в тылу противника определил скорое взятие Севастополя. Все в батальоне чувствовали себя героями и были так возбуждены, что почти никто даже и не сомкнул глаз до вечера. А вечером приняли фронтовые сто грамм и вообще развеселились – народ-то был один к одному, молодой, неутомимый.

Начпрод батальона нашел в своем номере оставленный немцами аккордеон Hohner, отделанный перламутром, и был счастлив, потому что в детстве окончил музыкальную школу по классу аккордеона, то есть нечаянный подарок пришелся по назначению. Вечером, сидя на скамеечке в каменистом дворике гостиницы, начпрод долго солировал, вспомнив все, чему его учили, а когда выдохся, попросил собравшихся вокруг бойцов и офицеров:

– Устал! Давайте, ребята, теперь пойте, а я подыграю!

И сами собой полились песни.

С тех пор, как исчез Адам, Александра никогда не пела, ни в компании, ни когда оставалась одна. Все считали ее безголосой и смирились с этим, приняли к сведению.

В паузе между песнями Батя сказал, что за всю войну это самая бескровная, самая удачная операция батальона.

– Орденов дадут! Медалей! – подхватили его слова офицеры, вроде бы в шутку, хотя все были уверены – дадут!

– А Бате Звезду Героя! – сказал какой-то подхалим из рядовых.

Как дань уважения Александре Александровне был выделен отдельный номер с балконом, с настоящей кроватью, с зеленым плюшевым диваном, с письменным столом, стулом и настольной лампой под зеленым стеклянным абажуром. Хотя электричества в городе не было, но в подвале гостиницы размещалась автономная дизельная электростанция, и ее можно было запустить при первой необходимости. Окно номера выходило на Северную бухту. Юго-западнее Севастополя еще шел вялый, затяжной бой – враг прорывался к Херсонесскому мысу, где, кстати сказать, 12 мая 1944 года с ним и было покончено.

А вечер 9 мая 1944 года выдался в Севастополе чудный, настоящий весенний вечер. Стемнело по-южному рано, луна еще не взошла, и даже недальние Мекензиевы горы терялись в

ночи. Александра стояла у высокого венецианского окна, скрестив на груди руки, и смотрела в сторону Северной бухты, с которой было так много связано в жизни ее матери, отца-адмирала, погибшего в морском бою с немцами брата Евгения, сестры Марии, а теперь и в жизни ее самой – Александры Александровны Домбровской. Ей вспомнились последние минуты перед штурмом, когда немцы разводили караул. "Странно, даже вместо нашей команды "Раз-два! Левой!" они командуют "Два, три, четыре! Левой!". Какие мы неодинаковые". Потом, через много лет после войны, когда дочь Александры Александровны переедет в Германию на ПМЖ[7] и она станет иногда приезжать к ней в гости, то узнает, что если у нас «кыс-кыс» – «кошка, иди сюда», то у немцев «кыс-кыс» – «кошка, иди отсюда».

Наконец небо очистилось, и яркая луна осветила зыбким, призрачным светом и бухту, и дальние окрестности, вплоть до невысоких Мекензиевых гор. По Северной бухте все еще плавали сотни оставленных с утра гробов, плавали и вытягивались длинной цепочкой в открытое море.

"Какое безумие война, – подумала Александра Александровна, – какое сумасшествие, когда миллионы людей убивают друг друга! Ладно, мы защищаем Родину, а этим что надо?!"

Внизу, во дворе гостиницы, без устали играющий на аккордеоне начпрод завел вальс "На сопках Маньчжурии". Самые шустрые ребята подхватили трех хорошеньких санитарок и закружились с ними на пятачке, а все остальные с любовью им подпевали:

Ти-хо во-круг,
Со-пки по-кры-ты мглой,
Вдруг из-за туч
Мельк-нула лу-на,
Мо-ги-лы хра-нят по-кой…

"Боже, как хорошо! – глядя вниз, во дворик, подумала Александра. – Как будто и не было боя, и нет войны, и не было никогда в Севастополе немцев… Мамочка, ты слышишь меня?! Как хорошо! И у нас в батальоне все живы! Как хорошо!"

Потом она еще долго стояла у окна и думала о маме, о пристройке, в которой они жили, о ларе с книгами. Вспомнились ей томики Чехова, изданные «Нивой», и почему-то рассказ "Черный монах".

"Ах да, понятно почему! – подумала Александра. – Ведь главный герой рассказа приезжал в Севастополь и останавливался именно в этой гостинице – окно его номера выходило на Северную бухту. И, может быть, он жил именно в этой комнате и последнее видение черного монаха было ему здесь? Ну, конечно, он приехал в Севастополь, чтобы потом, утром следующего дня, ехать в Ялту. И поздним вечером, ближе к ночи, точь-в-точь как сейчас я, Коврин[8] стоял у раскрытого окна, смотрел на гладь Северной бухты, и тут он в последний раз в своей жизни и увидел черного монаха".

Александра вышла на балкон. Гробы дрейфовали в открытое море, потихоньку их вытягивало на простор, некоторые из них, правда, тонули, наверное, все-таки были недостаточно хорошо сделаны, давали течь, один из них ушел под воду на глазах у Александры.

Окончились "Сопки Маньчжурии", и вместе с музыкой и пением прекратилось шарканье сапог вальсирующих. Александра почувствовала в тишине, как сильно болит у нее голова, – еще бы ей не болеть, после двух боев и бессонных суток. Даже перед глазами цветные круги

[7] ПМЖ – аббревиатура конца 80-90-х годов XX века, что означает "постоянное место жительства".

[8] Труды современных российских военных историков недвусмысленно свидетельствуют о том, что рукоприкладство в нашей армии, особенно в первые два года войны, было нормой. Верховный Главнокомандующий даже вынужден был издать по этому поводу приказ, который все-таки не до конца остудил прыть к мордобою.

и двоится. Александра взглянула на бухту с чернеющими гробами, и в ту же минуту черный монах, похожий на вихрь, пронесся через бухту с огромной скоростью, уменьшаясь на глазах…

Еще несколько мгновений стояла оглушительная тишина, как будто и там, во дворике, все видели черного монаха. А потом вдруг запел сильным открытым голосом Батя. Он пел редко, да метко.

Имел бы я златые горы
И реки, полные вина,
Все б отдал за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна!

Начпрод поспешил подыграть на трофейном аккордеоне, поблескивающем в лунном свете перламутровой отделкой, и все внизу подхватили раздольную русскую песню.

"А мы бы с ним спелись", – превозмогая головную боль, подумала о Бате Александра.

Батальон праздновал победу.

Батальон ждал наград.

# VIII

В двадцать три часа Батя дал своему батальону отбой, а в два ночи 10 мая его вызвали "на ковер".

Подстраиваясь под Верховного Главнокомандующего, который, как было известно, работал у себя в кремлевском кабинете по ночам, все мало-мальски крупные гражданские и военные деятели старались поспать днем, а ночью работали: дергали своих подчиненных или дремали по своим кабинетам на диванах. Главное, чтобы в кабинете всю ночь горел свет и ты в любую минуту оказался бы в случае чего при телефоне, как говорили тогда, "на связи". Всех повязали прочными путами, и в этом был ужас и могущество государства.

Ночь стояла не очень теплая, луна пряталась где-то за облаками, и комбат Иван Иванович шел к штабу дивизии, поеживаясь спросонья, с легким сердцем и большим интересом: он был уверен, что его призвали для похвалы, и даже размышлял по дороге о том, какие наградные рапорты и на кого следовало бы подать. "Правду сказать – все достойны, но всем не дадут, а вот, например, на Александру Александровну надо бы подать обязательно! У нее уже есть два ордена, так что можно взять и орденок повыше…" Батя был человек честолюбивый, не тщеславный, а именно честолюбивый, что совсем не одно и то же. В душе он надеялся закончить войну генералом: "Плох тот солдат, который не держит в своем ранце маршальский жезл".

Идти до штаба дивизии было недалеко.

Назад в гостиницу явился комбат Иван Иванович под утро. Брезжил рассвет, как и вчера, Северная бухта была покрыта туманом, но больше уже никто не мог преодолеть ее с тыла, там уже не было ни сожженных сдуру гробов, ни немецких войск.

Батя вернулся "с ковра" не майором, а младшим лейтенантом, и не комбатом, а командиром взвода, и не у себя, а даже в другой дивизии, кстати сказать, сильно обескровленной в лобовых боях за Севастополь.

Ивану Ивановичу не повезло. На его беду в штабе дивизии оказалась прибывшая буквально за пять минут до него крупная «птица» из Москвы. Нежданный гость, как и командир их дивизии, был генерал-майором, но совсем с другими полномочиями и возможностями, прямо скажем, несравнимыми.

Приезжий генерал и правда был похож на какую-то замысловатую птицу. Малорослый, щуплый, с головой, казавшейся особенно большой от его густых рыжих курчавых волос, – фуражку он снял и положил на тумбочку, едва поздоровавшись с комдивом и старшими офицерами. Комдив собрал командиров полков и отдельных батальонов для подведения, как он выразился, "итогов работы дивизии по Севастополю".

У нагрянувшего с инспекцией генерала было много волос, очень мало серого лица с тонкими губами и очень много носа, последнее и маленькие карие глазки без зрачков и делали его похожим на птицу. Три передних зуба на верхней челюсти мрачно отсвечивали металлическими коронками. Общее впечатление от генерала у всех собравшихся сложилось какое-то тягостное. Он давно мечтал переменить металлические коронки на золотые, но боялся, что его "не так поймут". Лицо и фигуру дали ему мама с папой, а передние зубы выбил палкой большой начальник в сентябре 1941 года, в ту пору, когда сам он был начальником маленьким. Этот большой командир нагрянул в часть случайно, просто она попалась ему на пути после взбучки у еще большего начальника, который обещал расстрелять его "как собаку". Часть построили в шеренгу по четыре, он стоял в первом ряду, и в глаз ему залетела соринка, он невольно заморгал, а тут большой гость…

– Ты как стоишь?! Ты что мне моргаешь, сволочь? – И палкой в зубы. Ткнул и пошел дальше, не оглядываясь.

В те времена такое было в порядке вещей. Случалось, генералов били палками…

– Ну как тебя угораздило на гробах, а? – вкрадчиво спросил политотделец, приближаясь к комбату.

Генерал был хотя и узкоплечий, малорослый и с тонкой кадыкастой шеей, но, видно, очень наполеонистый. Ему хотелось прыгнуть по службе через ступеньку, он был еще сравнительно молод, лет тридцати пяти, и денно и нощно думал о своем светлом будущем. Были к тому завязки. "А если сейчас, когда дело вот-вот решится, допустить что-нибудь такое… например, на гробах, на немецких… неизвестно, как отнесутся товарищи. Могут все расклады полететь к чертовой матери!"

– Ну и как тебя угораздило, Аника-воин, на немецких гробах, а?! Как мне это в печать, а?!

Тишина в комнате стала еще тягостнее.

– Гробы немцы делают очень хорошие, – не смолчал комбат. – А мы своих так прикапываем, как… без гробов.

– Что?! Как собак? Ты хотел сказать о советских воинах – как собак?! Меня не проведешь, я все понимаю, все намеки! – Вдруг маленький генерал подскочил к комбату, ловко сорвал с него погоны, бросил их на пол да еще успел ткнуть кулачком Бате в скулу, съехав по нижней губе. – В штрафба-ат! – завизжал он удивительно громко.

Зеленые, желтые, красные полосы замелькали перед глазами Ивана Ивановича, и он не мог поймать в поле зрения своего обидчика, хотя весь изготовился к прыжку… В следующую секунду у него на руках уже повисли и прямо перед ним возникло широкое простоватое лицо комдива, который прошептал, едва разлепляя губы, но слышно всем:

– Очнись!

Батя очнулся. Он видел, как комдив взял под руку расходившегося генерала и увел в смежную комнату, плотно прикрыв за собою дверь.

– Не горячись, майор, все мы на волоске, – попросил Ивана Ивановича один из полковников, значительно старший его по возрасту. Он сказал это так спокойно, так искренне, что Бате стало все равно: в штрафбат, так в штрафбат… только губа онемела, а так…

О чем говорили между собой за дверью два генерала, штабной и боевой, никто не узнал. А когда минуты через три они вернулись в большую комнату, то заезжий сказал как бы нехотя:

– Ладно, сегодня я добренький. Разжаловать в младшие лейтенанты и отправить в другую дивизию. Я прослежу!

– Есть! – взял под козырек комдив, подобрал с пола погоны, подал их Ивану Ивановичу. – Свободен, звездочку перевинтишь.

Батя козырнул и, повернувшись через левое плечо, вышел с майорскими погонами в руках из штаба дивизии.

– А какую формулировку разжалования? – спросил комдив.

– Сами придумаете. Я к следующим. Народец тут у вас… Пора навести порядок!

Все встали и взяли под козырек. Важная птица и провожавший гостя комдив пошли к дожидавшемуся генерала виллису направо, а Батя ушел налево, в темноту неосвещенного города.

Светало, почти как вчера, только все было теперь другое…

Жгучая обида застила глаза и душу Ивана Ивановича.

– Стой! Кто идет? – неожиданно для разжалованного комбата окликнул его караул внешнего оцепления гостиницы.

– Свои.

– Есть!

Слава Богу, его еще узнавали по голосу, и это польстило уязвленному самолюбию.

Дневальный в холле гостиницы отдал честь и начал было рапортовать о том, что все хорошо.

– Отставить! – не глядя, сказал ему бывший комбат и стал подниматься по широкой лестнице на второй этаж, в свой номер.

Пост дневального на втором этаже был освещен свечою, тот читал книгу. Увидев комбата без погон, дневальный был так ошарашен, что хотя и вытянулся в струнку, но забыл отдать ему честь.

Иван Иванович взял с тумбочки книгу, повернул ее к себе обложкой – "Три мушкетера". Он улыбнулся и пошел дальше. Проходя по длинному широкому коридору старинной гостиницы, Иван Иванович горько подумал о том, что вот уже ему даже не козыряют…

В его номере, располагавшемся рядом с номером Александры Александровны, было еще полутемно. Высокое венецианское окно номера тоже выходило на Северную бухту, а полуостекленная узкая дверь вела на балкон.

Он встал перед окном, вынул из кобуры наган, тяжелое, вытертое до стального блеска личное оружие. Оружие, которое ему почти не приходилось употреблять. Правда, когда прорывались через Мекензиевы горы, он, кажется, застрелил одного немца, но в темноте и в запале боя не понял, застрелил насмерть или только ранил. Наверное, ранил – немец повалился как-то косо и не сразу. Немца ранил, а себя сейчас убьет… Оказалось, что это не так просто, сразу не получилось даже взвести курок – большой палец тоже вдруг онемел, как и губа, хотя по нему никто и не бил.

Курок он все-таки взвел и вышел на балкон. "Гадина, – подумал он о разжаловавшем его генерале, – и сколько таких гадин…" Ивану Ивановичу было особенно горько не из-за майорских погон, а потому, что его безнаказанно ткнули кулаком в лицо… Хотя, в общем, и из-за того и из-за другого… Что скажет он батальону?

Иван Иванович был человек от природы храбрый. Никогда – ни в детстве, ни в юности во время потасовок, ни в войну – он не бегал с поля боя. Конечно, много раз ему бывало страшно, но он всегда преодолевал свой страх, а сейчас не мог, сейчас страх охватил всю его душу, сжал ее неумолимо, и ему захотелось бежать и бежать от всех и всего на этом свете! В этом чудилось ему единственное избавление… убежать раз и навсегда!

Туман над бухтой расслаивался. Далеко на востоке большим розовым пятном поднималось солнце.

"Красиво, – подумал Иван Иванович, вдыхая свежий морской воздух, – ладно, перед смертью не надышишься". – И он поднял наган к виску.

– Ва-ня-я! – вдруг раздался рядом с ним душераздирающий женский крик.

Рука Ивана Ивановича, державшая наган, автоматически опустилась, и он резко обернулся на крик.

Это с соседнего балкона закричала в голос Александра Александровна.

Наверное, за полчаса перед тем, как пришел в гостиницу Батя, она проснулась как от толчка, и ужас охватил ее с головы до пят, до мурашек по спине. Зачем-то одевшись по форме, она вышла на балкон и стала наблюдать рассвет. Она уже видела много рассветов в своей пока короткой жизни, но всякий раз каждый новый восход солнца наполнял ее душу новым восхищением. А через две-три минуты вышел на балкон Батя, и она увидела его приставившим наган к виску. Тут-то и закричала Александра, да так пронзительно громко, что ее услышали многие, в том числе и комбат, слава Богу!

Он машинально поставил наган на предохранитель и сунул его в кобуру. А Александра уже влетела к нему в номер: двери комбат не закрыл, чтобы ребятам было проще с его телом…

Комбат шагнул с балкона в номер и тут же получил две горячие пощечины. А потом еще две: по левой щеке, по правой, по левой, по правой… Александра Александровна знала, как выводить людей из ступора. Искры полетели из глаз комбата, а потом он расхохотался, и вместе с ним хохотала и целовала его Александра:

– Ты что, дурачок? Ты что, родненький?

Потом они уселись по-родственному на зеленый плюшевый диван, точно такой же, как в ее номере, и Александра Александровна велела ему, как маленькому:

– Рассказывай.

Он рассказал все вкратце, без оценок.

– Гадина, – сказала она о московском генерале, – какая гадина… гнида! И из-за него стреляться?! Да ни в жизнь! Подумаешь, четыре чина сбросил! Ты все равно еще будешь настоящим генералом. У тебя талант, и ты умеешь беречь людей! А звездочку мою перевинтим… большую поменяем на маленькую. Делов куча!

Накануне штурма Севастополя Домбровской было присвоено звание младшего лейтенанта.

– А комдив наш молодец, он тебе жизнь спас, а ты…

– Ладно, забыли, – остановил ее Иван Иванович тоном, не допускающим возражений, и она поняла, что он окончательно пришел в себя.

– Дневальный, расстарайся два чая и какую-нибудь еду, – выглянув в коридор, попросила Александра Александровна.

– А ничего, что ты у меня? – смущенно спросил Батя.

– Ничего. Ко мне не пристанет.

"Боже мой, какой он еще молоденький! – глядя на опустившего глаза Батю, подумала Александра. – Мы ровесники, а где он и где я? Боже мой, и если бы не подняло меня провидение… Кажется, в ту минуту мне снился черный монах, во всяком случае, что-то черное, клубящееся, как смерч, вытягивающее душу…"

Солнечные лучи скользнули в окно и в раскрытую дверь балкона, радостно осветили комнату.

– Вот и новое утро, – сказала Александра, – скоро лето.

– Лето, – как эхо, отозвался Батя, но в голосе его не было радости.

В дверь постучали.

– Да, – властно сказал Батя.

Дверь приоткрылась, и вошел дневальный с большим металлическим подносом, оставшимся в гостинице, наверное, еще с довоенных времен. Поставив поднос на стол, дневальный начал ловко его «разгружать»: два фарфоровых чайничка со свежезаваренным чаем, два тонких стакана в мельхиоровых подстаканниках, килограммовая банка немецкой ветчины, предупредительно открытая, ваза с печеньем, белый хлеб, плошка с кусковым немецким сахаром и – о чудо – тонко нарезанный лимон, от запаха которого и от солнечного света стало так праздничнo, что даже Батя улыбнулся.

– Молодец! – похвалил он дневального.

– У нас и продуктики, и вилочки, и тарелочки, и чайнички, и все тебе на раз! Немчура-то все бросила, а жили здесь, видать, с удовольствием, – затараторил услужливый дневальный.

– Спасибо, – сказал Батя, – ну что, тебе нравятся "Три мушкетера"?

– Так точно! – козырнул дневальный, его сонное плоское лицо осветилось живым светом, и он вышел из комнаты.

– Елки-палки, я уже и не помню, когда видела лимоны! А запах, обалдеть! – Александра была в восторге и стала такой хорошенькой, такой домашней, что Батя отвел глаза.

Ели и пили они с наслаждением.

– Стыдно мне, – сказал погодя Батя, – считай, один килограмм ветчины умял.

– Ничего, – засмеялась Сашенька, – это на нервной почве! В медицине все описано. – Ешь на здоровье, ты еще можешь вырасти! Тебе двадцать пять?

– Да, через два месяца.

– Ну вот, у тебя еще два месяца на рост. Мужчины растут до двадцати пяти. Пей чай. Хорошо парень заварил, по-настоящему!

За годы войны Александра видела много жестокой несправедливости, исходившей от высших чинов по отношению к их подчиненным, а правильнее сказать, подвластным им людям. В сорок первом сплошь и рядом практиковались так называемые расстрелы на месте, не то что без суда и следствия, а даже без элементарного разбора ситуации; да и в сорок втором такое бывало часто, и в сорок третьем, только к сорок четвертому году болезнь пошла на убыль, но не исчезла и до конца войны.

Но то, что сделали с Батей, как-то особенно больно ударило по Александре. Она не знала другого такого настоящего командира и отца солдатам.

В то утро она привинтила ему свою маленькую звездочку на погоны и сказала:

– Ваня, я всегда буду тебя помнить. Я не останусь в этом батальоне. Меня давно зовут во фронтовой госпиталь. У тебя есть чем писать?

– Есть. – Он вынул из планшета командирской сумки карандаш и что-то похожее на блокнот.

– Я напишу тебе мой адрес. Домашний и больничный, в Москве.

– Спасибо, – зарделся младший лейтенант Иван Иванович. – Ты думаешь, довоюем до победы?

– Еще бы! – засмеялась Сашенька. – Обязательно до победы!

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

*"Зачем тебя я, милый мой, узнала,*
*Зачем ты мне ответил на любовь?"*
***Русская народная песня***

## I

Африка пришлась по душе Ульяне Жуковой, и это очень порадовало Марию, вселило в нее новые надежды.

Возвращаясь из Марселя, яхта «Николь» достигла берегов Тунизии ранним утром. Однако Уля так боялась "проспать Африку", что дежурила на палубе еще с рассвета. Несший у руля вахту механик Иван Павлович Груненков приглашал ее к себе в рубку, но она отказалась.

– Лучше здесь постою…

– Вольному воля! – добродушно улыбнулся Иван Павлович. – Но сейчас мы запустим дизеля – ветер упал, а земля вот-вот проклюнется.

Гул дизельных моторов, легкое подрагивание корпуса яхты и иногда долетавшая вонь выхлопных газов, особенно остро ощущаемых на морском просторе, конечно же, мешали Уле наслаждаться и свежестью легкого бриза, и видом поднимающегося над чертой горизонта ярко-розового солнца, и даже самим морем – безмятежно тихим, ровным и необъятно большим.

Проснувшись на рассвете, Мария не обнаружила в каюте Улю и, накинув халат, чуть поднялась по ступенькам – выглянула на палубу, а увидев сестренку у поручней на носу яхты, зевнула и пошла досыпать. Нельзя было мешать Ульяне в ее первой встрече с terra incognita[9]. Мария по себе знала, что новые впечатления лучше не разделять ни с кем, а встречать их один на один, так сказать, лицом к лицу.

Вот и «проклюнулась» Африка.

Когда Иван Павлович сказал о земле «проклюнется», Улю как-то покоробило это слово, показалось неуместным, а когда она увидела всё воочию, то поняла, как он был точен. Земля действительно проклюнулась на самой кромке иссиня-пепельного небосвода, там, где соединялись море и небо. Сначала показалась, а точнее, проклюнулась, темная, неясная точка, медленно-медленно превращающаяся в серую полоску. И эта полоска все росла и ширилась на глазах, быстро становясь полосой, над которой вдруг возникли очертания гор Берегового Атласа, а там и белые кубики города на побережье, языки песчаных пляжей, синяя гавань с темными силуэтами кораблей и пальмы на приморском бульваре Бизерты – черные на фоне светлеющего неба, как будто игрушечные.

"Африка! Африка! Африка!" – восхищенно думала Уля, если, конечно, это восклицание можно назвать мыслью. Хотя, наверное, можно, потому что в одном-единственном слове было для Ули так много надежды, радости и невостребованной любви, что слово «Африка» стало для нее бо2льшим, чем изреченная мысль, гораздо бо2льшим…

Губернаторша Николь упросила Марию и Улю провести первые три дня в ее дворце. Разумеется, просила она Марию, а Уля помалкивала, во всем полагаясь на свою старшую сестру.

Конечно, и роскошь в убранстве помещений, и обилие слуг, и кухня с ее бессменным поваром Александером, и конюшня, и завтраки-обеды-ужины произвели на Улю сильное впечатление, но она не выказывала телячьего восторга, хотя и не скрывала своего удовольствия

[9] Земля неизвестная (лат.)

от всего увиденного, услышанного, съеденного, выпитого – будь то бедуинский кофе на углях или французские вина высшего качества.

– Неужели она впервые в таком дворце? Или вы где-то бывали с ней раньше? – заинтересованно спросила Николь об Уле, улучив минутку наедине с Марией.

– Впервые. Я сама удивляюсь ее такту, ее сдержанности.

– Вот это да! – воскликнула восхищенная Николь. – Если бы я сама не была в той комнатке, из которой мы с тобой ее забрали, то никогда бы не поверила. Ай да молодчина! Вот что значит мы настоящие дворняжки! Быть ей царицей! – И веселый огонь прозрения осветил враз помолодевшее лицо Николь.

Из всего увиденного в поместье губернаторши особенно понравилась Ульяне конюшня с ее лоснящимися от ухоженности конями, с полусветом из высоких, узких окон, с запахами соломы и конского навоза, вдруг остро напомнившими ей никогда не вспоминаемое прежде детство, в котором она не понаслышке знала о лошадях, коровах, курах; восхитило ее и то, как смело и нежно обращалась Николь с могучими животными, как косили они бездонными, мягко светящимися в полутьме глазами, когда Николь гладила лошадиные крупы или трепала своих питомцев за холку.

Губернаторша повела Ульяну на конюшню в первый же день их приезда, и тогда же выяснилось, что у petite souer cadette[10], увы, нет костюма для верховой езды. А ни один из костюмов хозяйки не может ей подойти, потому как Ульяна на голову выше и Николь, и Марии. В ней оказалось росту сто семьдесят девять сантиметров, да и формы будь здоров, хотя и очень пропорциональные.

Николь немедленно послала в город за своим портным, его скоренько привезли. Снимая мерки, маленький, тощий француз с куриной грудью не скрывал своего восхищения: он не высказывался, но по его изможденному лицу разлилась в те минуты такая нега, что и без всяких слов было понятно, как ему нравятся большие женщины, тем более ладно скроенные и крепко сшитые.

– Зачем было тратиться? – смущенно сказала Уля, когда портной ушел. – Мы бы и сами сшили.

– Сами? Ты шутишь?! – удивилась Николь.

– Нет, такое ей по плечу, – подтвердила Мария, – не зря ведь мы с ней работали в лучших русских домах моды в Париже. Руки у Ули золотые, да и головой Бог не обидел.

– Ой, девочки, тогда давайте шить себе наряды! – всплеснула ладошками Николь. – И меня научите, вот повеселимся!

– Вполне, – согласилась Мария.

– Можно, – кивнула Ульяна.

Николь была так воодушевлена вдруг открывшимися перед ней новыми горизонтами, что весь третий день они ездили по мануфактурным лавкам города и выбирали отрезы для будущих платьев. При виде губернаторши лавочники таяли от счастья.

На четвертый день, сразу после легкого завтрака, Николь предложила Ульяне начать обучаться верховой езде.

– Нет, Николь, мы должны ехать. У меня горы дел, – возразила Мария.

– Ну ты и поезжай! А Уля пусть останется? – Она вопросительно взглянула на petite souer cadette.

Та молча потупилась.

– Мари, зачем она тебе в твоих делах? В твоих финансовых бумажках? – не желая выпускать из рук новую игрушку, капризно спросила Николь.

– Как зачем? Она будет моей помощницей, я введу ее в курс дела.

[10] Младшей сестренки (франц.)

– В финансы?

– Конечно, в мои дела. Уля схватывает все на лету. Ее еще можно подготовить хоть в ваши бессмертные.[11]

– Ну не знаю, – недоверчиво пробормотала Николь. – Это правда? – вдруг обратилась она к самой Ульяне.

– Наверное, – был ответ, – жизнь покажет.

– Вы, русские, удивительный народ! – восхитилась Николь. – Я ведь так могу и поверить тебе, Мари!

– Не сомневайся, сестренка. – Мария чмокнула Николь в щеку. – Все будет именно так, как я сказала.

– А когда же шить?! – испуганно округлила глаза Николь.

– И шить будем, и пороть будем, – задорно отвечала Мария. – Как говорят у нас, в России: делу – время, потехе – час.

– По-французски тоже есть что-то похожее, – смиряясь со своей участью, потухшим голосом проговорила Николь.

– Езда на лошадях – дело серьезное. Сейчас Уля не совсем здорова. Скоро она будет в порядке, и я предоставлю ее тебе хоть на целую неделю, – пообещала Мария ободряющим, ласковым тоном.

– А-а, понятно! – пробурчала Николь. – Просто надо называть вещи своими именами. Мы ведь сестры.

– Она пока к этому не привыкла, – мягко улыбнулась Мария, – не обижайся…

Вскоре гости Николь двинулись в путь, на виллу господина Хаджибека.

Водитель губернаторши, уверенный в себе седоусый бербер с еще моложавым темным лицом, был горд тем, что везет Марию, – слава о ней бушевала в те дни в Тунизии, у всех на памяти еще был случай с туарегами, их чудесное спасение от казни.

– Госпожа, – сияя влажными черными глазами, сказал водитель, когда проезжали мимо осыпей, возле которых приключилось нападение туарегов на Марию, – госпожа, они признали вас святой.

– Кто – они?

– Как кто? Племя туарегов.

Банкир Хаджибек, его жены Хадижа и Фатима, ее малолетние сыновья Сулейман и Муса встретили Марию не просто с радушием, а с горячей радостью. Особенно дети, те минут пять визжали от восторга и делали круги возле Марии, то прижимаясь к ее коленям, то игриво отбегая в сторону.

В той половине, где жила Мария, старшая жена господина Хаджибека выделила для Ули комнату.

– Нравится? – спросила стройная, сухощавая и вместе с тем пышногрудая Хадижа, вводя названных сестер в просторную, чистую комнату с небольшим окном, – окна во всем доме были довольно маленькие, потому что так легче спасаться от зноя летом и от леденящих ветров зимой.

– Нравится, – ответила за Улю Мария, – но вообще-то нам надо купить или построить свой дом. Чем раньше, тем лучше. Я займусь этим.

– Как?! – потрясенно вскрикнула Хадижа, и ее насурмленные брови взлетели вверх. – Ты уедешь от нас?! Нет, это невозможно! – Она круто повернулась и поспешила на свою половину особняка.

– А они тебя любят! – восторженно сказала Уля. – Тебя все любят!

---

[11] Так называют членов Французской Академии.

– Ладно, устраивайся и не забудь сказать: "На новом месте приснись, жених, невесте", – засмеялась Мария и вышла в коридор, думая о том, что действительно это не дело – жить в приживалках, да еще вдвоем.

Пока Уля осматривалась на новом месте, старшая жена Хадижа так накрутила своего мужа, что уже совсем скоро раздалось его нарочитое покашливание и робкий оклик:

– Мадемуазель Мари!

– Да, господин Хаджибек, я вас слушаю, – двинулась из тупика коридора навстречу ему Мария.

– Здесь темновато, может, мы пойдем на веранду? – попросил хозяин дома.

– Хорошо, – согласилась Мария. – Уля, осваивайся, я скоро вернусь.

На веранде, защищенной от ветра сплошной каменной балюстрадой, они сели в легкие плетеные кресла, и красный от волнения господин Хаджибек произнес:

– Мадемуазель Мари, вы хотите съехать от нас?! Но это невозможно! И Хадижа, и Фатима, и дети… Нет, это невозможно!

– Но я ведь не порываю с вами в делах, я только…

– Нет, это невозможно! – как заклинание повторил господин Хаджибек слова Хадижи.

В голове его в эти минуты крутились многие pro et contra. Во-первых, жить одному в доме, конечно, лучше – с поселением Мари он невольно перестал чувствовать себя тем полновластным хозяином, каким ему всегда хотелось быть. Но, во-вторых, сейчас Мари у него под контролем и он точно знает (или, во всяком случае, почти точно), с кем она встречается и т. д. В-третьих, Мари так усилилась (благодаря ее отношениям в губернаторской семье и в связи с тем, как она почитаема теперь во всей Тунизии), что он, Хаджибек, вроде бы при Мари, а не она при нем, как было раньше. А вдруг она действительно уйдет?! Тогда все его планы могут просто рухнуть…

– Нет, это невозможно! – опять сказал господин Хаджибек. – Могу предложить вам свой вариант, если…

– Предлагайте. Я не хочу уезжать от вас любой ценой. Просто неловко стеснять вашу семью.

– Ради Аллаха! – поднял короткопалые руки господин Хаджибек. – Вы не стесняете нас, а украшаете нашу жизнь! Но… если хотите, я могу построить вам дом рядом. Очень быстро.

– Быстро? – с сомнением сказала Мария.

– Да, за два месяца. Строят – деньгами.

– Это правда. Строят деньгами. Вы сказали афоризм, поздравляю!

– Пожалуйста, – расплылся в улыбке польщенный господин Хаджибек. – Сегодня мы выберем место и сразу начнем!

– Ну куда так спешить? Надо еще придумать дом. У нас в России говорят: семь раз отмерь – один раз отрежь!

– Я счастлив, что вы согласны, сейчас обрадую своих! – И, не дожидаясь, что скажет Мария, господин Хаджибек засеменил в дом.

# II

На следующее утро Мария проснулась с чувством той детской сладостной радости, с которым она не просыпалась уже давным-давно. Спросонья она не сразу поняла, откуда оно, это веселящее душу чувство. А потом сообразила, с наслаждением потянулась всем телом: ведь в соседней комнате спит Уля, ее названная, созданная ею духовно сестренка. И теперь она, Мария, снова не одна на чужбине. Они вдвоем – и это огромная сила! Правда, еще просится в сестры Николь… Ну что ж, хотя она и другая, пусть будет.

Раньше Мария думала, что лучшие люди на свете русские, а теперь, поживя на чужой стороне, поняла, что и французы лучшие, и арабы лучшие, и евреи лучшие, и китайцы лучшие, и сербы лучшие, и чехи лучшие, и немцы лучшие, и прочие народы – каждый для себя лучший; все хороши, только они – другие. Физически все сравнительно одинаковые, но душа у каждого народа своя, может, и не вся душа, потому что есть общечеловеческое, а только часть души.[12]

[12] Для этой части души в конце XX века придумали понятие «менталитет», что значит: совокупность мировоззренческих представлений, умственных навыков, духовных установок, пристрастий в пище, одежде, уложений в быту, характерных как для отдельных личностей или сословий, так и для народа в целом. В русском языке слово заимствовано из французского mentalite, а во французском – из позднелатинского mentalis – умственный, духовный.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.